

Дина
Рубина

Дина
Рубина

**На Верхней
Масловке**

Мне всю жизнь везло на старух. Они возникали на моем пути как обломки скалы, как столетние чинары, как судьбинные камни на развилках сказочных дорог. Это были великие старухи, чьи биографии, расцвеченные знаменитыми именами, питали мое жадное воображение и требовали запечатления. Когда-нибудь напишу целое ожерелье рассказов про всех могучих старух, сформировавших — каждая в свое время — мои взгляды на жизнь, на женскую судьбу, на любовь, на мужчин.

...Одна из них — скульптор Нина Ильична Нисс-Гольдман, девяностолетняя подруга моего мужа Бориса — появилась в моей жизни с переездом в Москву, в 1984 году. При первой же встрече я поняла, что эта старуха никогда не станет «моей» — в ней не было ни капли сентиментальности, ни малейшего стремления привязать человека к себе, произвести впечатление.

Обитала она в мастерской, в известном доме конструктивистского стиля на Верхней Малословке, где жили и работали многие художники и скульпторы.

Этот быт мог показаться любому нормальному человеку просто убогим: шербатый камен-

ный пол, раскладушка, старенькая плитка, древний холодильник, кривобокий круглый стол и калечное старое кресло, ну и несколько разномастных табуретов для гостей — все, подозреваю, подобрано на помойках.

Но высота потолка — метров шесть, и все огромное помещение заполнял странный почти осязаемый вертикальный воздух, придававший обстановке мастерской высокий, даже эпический лад.

И биография у старухи была — дай бог каждому персонажу из серии «Жизнь замечательных людей». Какие имена витали в воздухе этой мастерской, вскользь брошенные ворчливым баском Нины Ильиничны, какие произносились названия и адреса!

Профессор легендарного ВХУТЕМАСа, коллега Фаворского и Бруни, приятельница Модильяни, Орловой, Цадкина, Сутина... — да целой плеяды знаменитых художников, — она за свою долгую творческую жизнь лепила и Брюсова, и Бабеля, и Солженицына... и, конечно же, непременных советских вождей, бюсты которых, выстроенные на деревянных стеллажах, насмешливо-любовно называла «кормильцами»...

Рассказывать любила: вставляла эпизоды как бы между прочим, и в общем разговоре эти невзначай оброненные несколько фраз вспыхивали тем или иным именем:

— Это были дни, когда уже всю бомбили Москву. И МОСХу был отдан в составе для эвакуированных только один вагон. Давка, сами понимаете, страшная. У дверей вагона какой-то распорядитель орал, как заведенный: «Только для членов МОСХа!»

И Раиса, бывшая жена Роберта Фалька, с маленьким сыном и своей сестрой, одноногой Александрой Вениаминовной Азарх-Грановской, в этой давке совершенно потерялись. Они раньше не смогли эвакуироваться и видели, что дело безнадежно. Тогда провожавший их ученик Александры Вениаминовны подошел к Фаворскому и спросил:

— Владимир Андреевич, вы в Бога верите?

— Зачем вы спрашиваете? — отозвался тот. — Вы же сами знаете.

— Возьмете к себе в купе калек и женщину с ребенком?

— Конечно!

И всю дорогу до Самарканда — а она ведь на несколько месяцев растянулась, — Фаворский делил положенный на его семью паек на всех пассажиров в купе... И доехали!

Гости у нее не переводились. Толклись с утра до вечера — художники, молодые актеры, журналисты, какие-то вечные студенты. Гости сменяли один другого, сбивались в группки, спорили, обсуждали выставки, светские скандалы, последние новости искусства, кто-то поднимался в сотый раз поставить на огонь старый чайник, кто-то высыпал на надбитую тарелку принесенные мятные пряники:

— Нина Ильинична, вам соку налить или чаю?

— И то и другое, пожалуйста.

Борис иногда расставлял этюдник и писал с Нины Ильиничны очередной портрет. Та очень его ценила как художника, но неоднократно критически прохаживалась по поводу его художавости: «Борис, вас же в профиль просто не существует!» — она любила мужчин корпулентных, да и сама была увесистой дамой: на мощных лапах старого скульптора закатаны рукава рубашки, внушительный нос на морщинистом лице, и — голос... Внятный, безапелляционный, насмешливый.

Кажется, я сначала ей не понравилась. Она любила Бориса и была пристрастна к его выбору. И то сказать: разве такая жена нужна художнику? Художнику нужна беспрекословная бытовая преданность и истовое служение: ты и модель, ты и прачка-кухарка, ты и искусствовед, если надо... Мне старуха тоже не очень приглянулась: оторопь брала от ее манеры припечатать двумя-тремя ядовитыми словами человека, фильм, явление, книгу... Какие-то ее высказывания вспоминаются мне, как афоризмы.

О дочери знаменитого художника:

— Говорят, на детях великих людей Бог отдыхает. Так на ней он всласть отдохнул, и даже как следует выспался.

О сыне известного артиста:

— Кабы не фамилия, он бы стоял на конвейере и коробки клепал, если не выпьет с утра.

О режиссере, художественном руководителе крупного московского театра:

— Ох, она интрига-анка! По сравнению с нею испанская Изабелла-католичка просто пионерка из Артека...

Частенько меня раздражали эти ядовитые перлы, иногда я просто уклонялась от посещения мастерской, пока... пока не обнаружила, что скучаю без хлестких замечаний Нины Ильиничны, без ее поразительно точных, метафоричных суждений об искусстве, без неожиданных и ярких воспоминаний: о ростовском детстве начала века, о годах учебы в Русской академии в Париже, о стигнувших в сталинском средневековье друзьях...

— Знаете... в конце концов, я просто поняла, что надо делать в случае, когда ты понимаешь: этот человек — стукач. Надо просто спускать их с лестницы! Я так и поступала и выяснила, что это единственно правильный ход. А вот когда ты их боишься, заискиваешь, вещаешь патриотическими лозунгами — нет, это никогда не спасало. Наоборот — это и подозрительно. Гнать взашей — единственно точная реакция возмущенной невинности...

В какой-то момент я поймала себя на том, что записываю за ней не только отдельные фразы, но и целые эпизоды разговора; что мне хочется запомнить и запечатлеть в словах бледно-серый высокий воздух мастерской, эту странно ощущаемую вертикаль времени, что проходит сквозь жизнь глубокой старухи, обогащая, одаряя лично меня, а также тех, кто приходит сюда — послушать совершенно независимого, внутренне свободного человека...

Между тем, она угасала, почти не поднималась с раскладушки. Когда совсем ослабела, при ней по очереди дежурили друзья, в основном молодые художники, моложе ее лет на семьдесят — люди, которым совсем скоро предназначено было вступить в другую жизнь совсем иной страны, а многим предстояла эмиграция. Время было мутное, тяжелое, безрадостное...

Нина Ильинична явно сдавала; физические силы ее по-

кидали, но неизменно при ней оставались живой ум, цепкий взгляд, невозмутимая ирония, в том числе и по отношению к самой себе.

— Нина Ильинична, вы когда-нибудь в жизни делали зарядку?

— Боже упаси!

...Я приступила к написанию повести «На Верхней Масловке», уже понимая, что должна торопиться. И звонила ей, своей героине, ненароком наводя разговор на воспоминания детства и юности, на рассказ о друзьях... Она говорила и говорила, дыша уже прерывисто и тяжело. Угасала жизнь, как будто — не могла я отвязаться от этой мучительной мысли — как будто последние силы Н.И. отдавала интенсивной работе чужого писательского воображения.

Повесть «На Верхней Масловке» вышла в сборнике моей прозы в издательстве «Советский писатель» в 1990 году, — в день, когда умерла Нина Ильинична.

Перед самым ее уходом кто-то из друзей-кинематографистов снял фильм — небольшой, минут на двадцать. До нас с Борисом этот фильм дошел уже в Иерусалиме — привезли московские друзья. Мы поставили диск, и... зашуршали звуки, кто-то прокашлялся знакомым хриплым кашлем... Камера поехала вдоль стен с антресолями, с развешенными картинами, с полками, на которых расставлены гипсовые бюсты... И мы вдруг *увидели* тот самый, высокий бледно-серый воздух знакомой мастерской на Верхней Масловке...

Потом я никак не могла заставить себя еще раз прокрутить этот немудреный фильм. Но вспоминаю, вспоминаю: камера подолгу задерживается на лице и фигуре очень старой женщины, молча сидящей на раскладушке с понурым, почти отсутствующим видом. Наиболее в кадре выразительны руки; не лицо, а большие, разработанные всей жизнью скульптора, кисти рук, безвольно лежащие на коленях. За ее спиной двигаются люди, кто-то ставит на стол кастрюлю, исходящую паром, принимается разливать суп.

Голос за кадром:

— Нина Ильинична, вам ножку или крылышко?

И вдруг лицо оживляет усмешка, глаза смотрят прямо в камеру. Это прежние ее глаза: в них ирония, оценка, и мгновенная реакция:

— И то, и другое, пожалуйста, — твердо произносит старуха.

Ваша Дина Рубина

На Верхней
Масловке

Его вельветовые брюки имели все еще очень приличный вид. За брюки он был спокоен. В присутственных местах можно непринужденно вытягивать ноги или класть одну на другую, слегка покачивая верхней. Впрочем, тогда видны мокасины, а их биография насчитывает выслугу лет куда более почтенную.

В присутственных местах, пожалуй, разумнее всего убирать ноги под кресло, тогда колени, обтянутые приличными брюками, на виду, а мокасины не мозолят глаза секретаршам, от которых, увы, так часто зависит многое.

Вот она, голубушка, вышла из кабинета. Пригласит к шефу? Или?..

Он приподнялся в кресле, стараясь, чтобы выражение лица не казалось напряженным и ожидающим. Нет-нет, все легко и непринужденно. Ничего особенного не происходит. Просто человек с высшим образованием, с красным (на всякий случай) дипломом всего только полжизни не может устроиться на работу. И так — что же на этот раз?

Секретарша очень славная, надо отметить. Милое, чуть огорченное лицо. Ну-ну, девочка, не стоит из-за меня огорчаться, дело житейское. И так?!

— Петр Авдеевич, к сожалению, у нас все еще неясность в этом вопросе. Елена Ивановна ушла в

декрет, но, как выяснилось, Инга Семеновна на будущей неделе как раз из декрета выходит... Ну и... вы понимаете...

— Понимаю, — подхватил он с улыбкой, с мерзейшей легкой улыбкой, выработанной его лицевыми мышцами в течение этих месяцев. — У вас налажено собственное производство новорожденных завлитов.

Она расхохоталась. Нет, она милая, ей-богу. Были бы деньги, пригласил бы ее... ну хоть в театральный буфет.

...Неужели все-таки придется вступить в эту унижительную, смехотворно мелкую игру: красиво сунуть секретарше коробку конфет, «уютно посидеть» с тем и этим инструктором министерства, появляться, крутиться, мелькать, внедряться «в круги», держа при этом в голове, кто в какую группировку входит, чтобы не ляпнуть, не дай бог, чего-нибудь или не столкнуть двух борзых из разных свор... Титаническая работа мозга и нервов, по плечу разве что разведчику из телевизионного шедевра.

Он приложился к мягкой выхоленной ручке, молча поклонился. И все это — чтобы ступить, наконец, на нижнюю ступень эскалатора, медленно ползущего вверх, на самую нижнюю, затоптанную, с ошметками сохлой грязи, ступеньку, — ах, потеснитесь же, дайте хоть левой ногою нащупать твердь, я повишу, я без претензий...

Врешь, братец, ты с ба-а-льшими претензиями... Прочь!

— Вы все-таки позванивайте, Петя, — секретарша понизила голос и многозначительно метнула глаз-

ками в сторону кабинета. — Вдруг что-нибудь да изменится... Вообще-то мы в вас заинтересованы.

Присвистывая и кивая знакомым физиономиям, он спустился по угнетающе величественной лестнице в служебный гардероб...

Много народу. Народу, говорю, слишком много в этом городе, в этой области искусства, какую вы, драгоценный Петр Авдеич, выбрали для приложения своего таланта, в существовании которого, кстати, так странно, так незыблемо уверены... Ну, довольно шута перед собою ломать. И что за милая привычка тихого сумасшедшего появилась у тебя в последнее время — беседовать с самим собою? Иди, дурак, и делай что должно, а то на пенсию тебя проводит незабвенная швейная фабрика и драмкружок, которым без малого три столетия ты руководишь...

Хорошо, что швейцар здесь не имеет привычки услужливо разворачивать перед тобой твой же старый плащ штопаной подкладкой наружу... Елена Ивановна в декрет, Инга Семеновна из декрета... Развели бабья кругом, бабье заправляет в искусстве...

...Он навалился грудью на тяжкую, как чугунная плита, дверь служебного подъезда, с вертикально привинченной табличкой «От себя», вышел на улицу и достал из кармана плаща мятую кепочку — ветер трепал над головою мелкий дождик.

Старуха, конечно, ничего толком не поймет, но не откажет себе в удовольствии покуражиться, особенно если вечером в мастерскую кого-нибудь черт принесет. В ее девяностопятилетней памяти перетасованы времена и нравы, ей кажется, что она по-

прежнему профессор ВХУТЕМАСа и стоит только позвонить Фаворскому или Левушке Бруни, как с Петей все моментально устроится. Маразма у старухи нет, этого и злейший враг не посмеет сказать, но бестолковость — сверхъестественная...

По поводу врагов: все они благополучно померли в прошлых веках, старуха победоносно их пережила и похерила, ныне ее окружают сплошь любимые друзья. Враг, притом злейший, остался только один: Петя...

Из-за фонаря выскочил бездомный сирота Шарик, которого здесь изредка и скудно подкармливали, пристроился сзади на почтительный шаг и потрусил с Петей через дорогу к остановке. Перед прохожими прикидывался, да и перед собою тоже: вот, мол, и у меня хозяин есть.

Они перешли дорогу. Под навесом остановки Шарик топтался рядом, крутил хвостом и скромно посматривал вверх. Не навязывался, нет. Петя наклонился и почесал его мокрую спину. Шарик заныл от счастья.

— Ты чего такой худой? — спросил Петя строго.

Шарик заплакал. И видно, что не из расчета, а так, растрогался.

— Дружище, взял бы, ей-богу, взял, я в тебе заинтересован, — сказал Петя громко, возложив опорную руку на грудь. — Но сам понимаешь: Елена Ивановна — в декрет, Инга Семеновна — из декрета...

Девушка в долгополом, очень модном пальто, сидевшем на ней как тулуп на ямщике, бочком отошла подальше. Это рассмешило.